

АЛЕН БАДЬЮ

## О французском языке как опустошении<sup>1</sup>

Учреждение мысли во французском языке сразу же приобретает политическое значение: привилегия, дарованная французскому, объясняется не каким-нибудь внутренним, врожденным свойством, а возможностью универсального и демократического назначения философии. Язык скорее женщин и пролетариев, нежели ученых, философский французский основан на убеждении, что мыслительный акт открыт и предназначен всем: его сокровенная связь с литературным письмом не имеет иного основания. Наперекор зачарованности словом и этимологией, то есть началом, происхождением и сущностью, во французском языке ставка делается на синтаксисе, то есть на отношениях и утверждениях. И поэтому опять-таки философия на французском языке является политической: между аксиомой и сентенцией, против консенсуса и двусмысленности, французский запечатлевает в ней свою достоверность и свой авторитет, которые составляют также красоту убедительности.

В 1637 г. Декарт публикует на французском языке, анонимно, «Рассуждение о методе». Эта публикация предваряет на четыре года «*Meditationes de prima philosophia*» («Метафизические размышления») на латыни. Декарт не сам будет переводить «Рассуждение» на латынь (это будет сделано в 1644 г. Этьеном де Курселем), равно как не будет защищать латинский язык «Размышлений». Он дает понять, что перевод на французский герцога де Люиня, дополненный «Возражениями и Ответами» в переводе Клерселье, с его собственноручной обширной правкой, может служить исходным текстом или, как скажет позже Байе, «придает большую выразительность» мысли автора, и что очень важно поддержать склонность к чтению у тех, кто, «не умея пользоваться языком ученых, всенепременно обнаруживает любовь и расположение к философии».

<sup>1</sup> Перевод выполнен по тексту: *Badiou A. De la Langue française comme évidemment // B. Cassin (dir.). Vocabulaire européen des philosophies: Dictionnaire des Intraduisibles. Paris: Le Seuil/Le Robert. 2004. P. 465–473.*

Языковая стратегия Декарта не оставляет сомнений: в ней отдается предпочтение французскому языку, а «Господам деканам и докторам “священного” теологического факультета Парижа», коим адресовано осторожное, оборонительное предисловие «Рассуждений», показывается, что мы умеем обращаться с официальным ученым языком и можем, как и все прочие, превозносить на декадентской латыни авторитет «священного имени Сорбонна».

Точно так же было в XX веке, когда все великие творцы французской философии: Бергсон, Сартр, Делез, Лакан — отстаивали право быть писателями на своем языке: в сущности, они отстаивали право на *свободе* языка, пытаясь вместе с тем добиться того, чтобы Университет признал за ними профессионализм. То есть они с упорством следовали этой изначальной расположенности, учреждающей философию в согласии с фронтальным стремлением писать на родном, материнском, наречии, не поддаваясь соблазну анархического разрыва с учеными институтами.

Проблема в том, чтобы выяснить, в чем для Декарта и его последователей заключается собственно философский смысл этого учреждения мысли во французском языке, наряду с которым учреждается также неоднозначный статус французского мыслителя, дающий повод для криволокков; рискуя быть преданными анафеме учеными мужами, он хочет быть и философом, и писателем.

## **I. Политика французского языка: демократическое назначение философии**

Итак, вся проблема, следствия которой все еще сказываются на нас, в том, что *привилегия, дарованная французскому языку, не имеет ничего общего с языком как таковым*. В противоположность тому, что будет постепенно вырисовываться — намного позднее — для немецкого языка, и что в античности было данностью для греческого языка, сопряжение философской техничности и французского языка не сопровождается никакой спекуляцией насчет особых философских характеристик французского наречия. Более того, Декарт глубоко убежден, что сила мысли не имеет ничего общего ни с языком, ни с риторикой:

Те, кто сильнее в рассуждениях и кто лучше оттачивает свои мысли, так что они становятся ясными и понятными, всегда лучше, чем другие, могут убедить в том, что они предлагают, даже если бы они говорили по-нижнебретонски и никогда не учились риторике.

*Декарт. «Рассуждение о методе». Часть первая<sup>2</sup>.*

<sup>2</sup> Декарт Р. Рассуждение о методе / Пер. с франц. Г. Г. Слюсарева и А. П. Юшкевича // Декарт Р. Сочинения: В 2 т. Пер. с лат. и франц. Т. 1 / Сост., ред., вступ. ст. В. В. Соколова. М.: Мысль, 1989. С. 254.

Другими словами, передача мысли индифферентна языку. Она — для Декарта — имеет три экстралингвистических критерия:

- 1) Рассуждение, да — но в то же время способность сопрягать идеи, исходя из неоспоримых аксиом, парадигмой которых является письмо геометров, всенепременно переходящее во все языки.
- 2) Субъективация («переваривание») идей, то есть внутреннее прояснение того, что, по словам Буало, «хорошо постигается», и по отношению к чему выражение является лишь следствием. Но в то же время — мыслящая интериорность, каковая есть интуиция имманентных идей, где нет ничего языкового.
- 3) Ясная и вразумительная запись, которая, если критерии 1 и 2 удовлетворены, может реализоваться на любом диалекте (к примеру, нижнебретонском) и убедить любой ум.

Это последнее замечание имеет огромное значение. Ибо принципиальный универсализм является одним из тех оснований, согласно которым для Декарта представляется губительной всякая необходимость прохождения через исследование особенностей языка. Формирование истинных мыслей, их передача, их восприятие не могут быть привязаны к какому-то отдельному языковому состоянию. Это одно из значений знаменитой аксиомы о здравом смысле, каковой «наилучшим образом распределен между всеми людьми». Действительно, как Декарт считает должным уточнить, речь идет об универсалистской эгалитарной аксиоме: «способность правильно рассуждать и отличать истину от заблуждения [...] от природы равна у всех людей», а что касается разума, то «он полностью наличествует в каждом из нас».

Таким образом, мы связываем волю философствовать на французском языке не с соображением об особой приспособленности этого языка к адекватному выражению мыслей, еще меньше связываем мы ее с неким спекулятивным национальным учением о связи Бытия и языка (немецкого, греческого...): она сопряжена, напротив, с изначально демократическим определением формирования и предназначения мысли. Суть в том, чтобы говорить на языке «всех и каждого», а поскольку мы во Франции, то говорить нам следует на французском, не спекулируя при этом особыми соображениями ни по поводу понятий (каковые сами по себе индифферентны языку), ни по поводу языка (ибо французскому не даровано никаких привилегий).

Притом что другая проблема эмпирического, как может показаться, свойства, хотя таковой, как мы имеем все основания полагать, не является, заключается в следующем: с Декарта, в связи с его выбором в пользу французского языка, берет начало убеждение, что философское рассуждение надлежит адресовать дамам, что разговор ученых жен представляет собой гораздо более важный способ апробации и признания истины, нежели все постановления ученых мужей. Салон или Королева намного важнее Сорбонны. Как признается Декарт, «когда

я наблюдаю столь многообразное и совершенное знание всех вещей не у гимнософиста, старика, имевшего в распоряжении многие годы для созерцания, а у девушки-правительницы, своим обликом и летами напоминающей не столько воительницу Минерву или какую-либо из Муз, сколь Хариту, я не могу не отдаться во власть величайшего восхищения» (Посвящение к «Первоначалам философии»)<sup>3</sup>. В этом ключевом моменте с принцессами и королевами заключается стихийная демократическая интенция, разворачивающая философское рассуждение к беседе и обольщению, скорее к Венере, нежели к Минерве, и освобождающая его, насколько это возможно, от оков академизма или сциентизма. И эту интенцию будут подчеркивать все знаменитые французские философы, составляя таким образом весьма показательное собрание: речь идет о Руссо, но также об Огюсте Конте, разумеется, о Сартре, равно как и о Лакане. Все они желают быть услышанными женщинами, все хотят снискать их восхищение, понимая, что за женщинами ухаживают не на латыни, равно как не на языке педантов.

Скажем, что когда философия во Франции «национализируется», в лингвистическом смысле понятия, происходит это в режиме общезначительности, искусности, живого универсализма, а не в силу принятия во внимание некоей материальности или историчности языков. Речь идет не об укоренении в каком-то более или менее забытом изначальном речении (логика традиции) и не о следовании предписаниям риторики по части ритма или форм, необходимых для развертывания мысли (логика софистики).

Тезис можно сформулировать просто: основание, исходя из которого философы, начиная с Декарта, пишут на французском языке, является в их собственных глазах основанием *политического характера*. Ибо суть единственно в том, чтобы дать ответ на двойной вопрос: откуда происходит философия и кому она предназначена? И ответ, с одной стороны, в том, что философия не имеет конкретного места происхождения, а начинается где угодно в свободном акте, на который способен любой ум; с другой стороны, в том, что философия предназначена всем, что в конечном итоге будет означать, как это «систематически» говорит Конт (верный в этом пункте Декарту, Руссо и предворяя тем самым Сартра или Делеза) — женщинам и пролетариям.

Так кому же философия *не* предназначена? Ученым мужам, Сорбонне. Чтобы подтвердить это, недостаточно писать по-французски. Нужно будет писать на этом «современном» французском, литературном французском, который отличается от «академизированного» или «правильного» французского, распространяемого через университетское образование. Даже такой мирный философ как Бергсон добился признания благодаря своему слогу, безусловно плавному и непринуж-

<sup>3</sup> Декарт Р. Рассуждение о методе / Пер. с лат. С.Я. Шейнман-Гопштейн // Там же. С. 300.

денному, но при этом насыщенному сравнениями, схваченному в его неумолимом движении и, в конечном итоге, созвучному с «артистическим» языком конца XIX столетия. Вот почему ученые высмеивали красивых дамочек в мехах, которые толпились на его лекциях в Коллеж де Франс. Ну и для нашего времени достаточно вспомнить маллармеанское письмо Лакана, романную прозу Сартра, искрометность Делеза. А до того — динамичную мощь Дидро или же изобретение романтической фразировки у Руссо. А еще раньше — афористичность Паскаля. Что и доказывает: осуществление демократического призвания философии предполагает, что мышление учреждается именно во французском литературном языке, более того — в «модном» письменном языке. Что также может путем диалектического перевертывания, столь привычного для французского демократизма, превратить философию в исключительно аристократическую дисциплину, или, по крайней мере, дисциплину несколько снобистскую. Это и есть та опасность, от которой, как извечно твердят ученые, французская философия непременно погибнет, хотя, предавая анафеме «жаргон» Деррида или Лакана, они призывают к пресловутой картезианской ясности, которая на самом деле есть не что иное, как основоположение той национальной связки между философским рассуждением и литературным письмом, которой стараются быть верны как Лакан, так и Деррида.

## II. Синтаксис против субстанции: французский как скудный язык

Главная проблема касается тех последствий, что влечет за собой в отношении философии ее учреждение в языке писателей, каковой сам по себе является парадоксальным результатом изначального демократического выбора.

Мы уже сказали, что из этого выбора проистекло своего рода безразличие к философским особенностям национального диалекта. Несмотря на самые рьяные усилия, предпринимаемые иными мыслителями, ничто и никогда не могло подчинить французскую философию тому тяжкому труду, которому предавались немецкие философы, раскрывая тайны слов, обнаруживая их индоевропейские корни, предписывая словам задачу высказывать бытие или сообщество. Ничто и никогда не *предназначало* французский язык чему-то иному, кроме непосредственного смака и, в конечном счете, чарующей, хотя, порой и мудрено вычурной вольготности его стиля. Главное правило, как его формулировал Корнелья для театра, — это нравиться, а не убеждать себя с чуть ли не священнической серьезностью в том, что язык действительно является трансценденталью некоего обещания мысли или избранным средством передачи какого-то потрясающего речения. Франция всегда высмеивала то, что Полан называл «этимологическим подтверждением» истины. Чувство собственного превосходства в ней никогда не доходит до того, чтобы только по происхождению счесть французский язык фи-

лософски призванным или избранным; скорее оно направляется идеей, по-своему также национальной, но на иной манер, что язык, которым манипулирует писатель, способен высказать именно то, что он хочет сказать и, сверх того, соблазнить, очаровать и тем самым привлечь на свою сторону того, кому предназначены его слова. Правда, речь идет здесь, и самые вымученные опыты французской прозы (Малларме, Лакан, Сартр эпохи «Критики диалектического разума», задушивший себе голову языком) не составляют исключения, как раз наоборот, о прозрачности прозы в отношении к Идее, а не о глубине или общности связи между толщей языка и сутью вещей.

Дело в том, что латентный универсализм всякого употребления французского языка — от Декарта до наших дней — целиком и полностью основан на убеждении, что *сущность языка — это синтаксис*. Классический французский язык, каким он оформляется со времен Монтеня и Рабле, это язык отполированный, отшлифованный и «компактифицированный» совместными усилиями полиции прециозных салонов и централизованного государства; это язык, который почти не оставляет места семантической двусмысленности, поскольку в нем все подчинено самой энергичной, самой короткой и самой ритмичной синтаксической расстановке. Этот язык, сердцевиной которого является афоризм Паскаля или Ларошфуко, с одной стороны, александрийский стих Расина — с другой, предоставляет себя философу сконцентрированным вокруг глаголов и связок, следствий, а не причин. В противоположность английскому, он не является языком феномена, нюанса, дескриптивной изошренности. У него узкое семантическое поле, он от природы склонен к абстракциям. Ему точно также не подходит ни эмпиризм, ни феноменологизм. Это язык решения, принципа и следствия. Не язык вопрошающего колебания, раскаяния, замедленного восхождения к темной и перенасыщенной точке начала, или происхождения. Но язык быстрый на утверждение, решение, завершение анализа; язык, проявляющий нетерпение к вопросу.

Я всегда поражался тому совершенному порядку, который привносили в свои рассуждения (французские) приверженцы интуиции, чувственной жизни, художественной разупорядоченности. Когда Бергсон выступает против прерывистой и абстрактной стороны речевого или научного сознания (именно: он говорит, на самом деле, о характеристиках французского языка, о его сдержанности, его абстрактности), когда он восхваляет непосредственные данные мышления, постоянный порыв, неделимую интуицию, он делает это на образцово прозрачном и упорядоченном французском языке, в котором изобилуют отточенные формулы и в котором с удивительной ясностью выступают все отличия, все бинарные оппозиции. И наоборот: создается впечатление, что Лакан или Малларме облачают всю логику рационализма в язык раздерганный, расчлененный, в высшей степени прерывистый, смысл которого приходится все время восстанавливать, но этот французский

язык, подвергнутый поначалу испытанию аллюзивного синтаксиса, начиная сосредотачиваться, в конечном счете также подчиняется духу максимы («Женщины не существует» или «Всякая мысль есть лишь бросок игральных костей»).

В конечном итоге, безотносительно к тому, являемся ли мы приверженцами непрерывного жизненного порыва или же сдержанности в обращении со значениями, приоритет во французском языке все равно отдается синтаксису, связи преобладают над сущностями, фразовые отношения — над лексическими единицами, или вокабулами. Никто не ускользнет от порядка доводов, поскольку ему всеми формами соответствует сам язык. Или, по меньшей мере, таково его естественное стремление, и даже тому, кто возжелает низринуться в жизненную интуицию, все равно придется работать в прямо противоположной стихии, орудя симметричными конструкциями и грамматическими соподчинениями.

Французский язык располагает к опустошению, вычищению субстанциальности. Ибо если он и останавливает внимание на плотности существительного (как это может быть в случае для «кусочка воска», «корня каштана» или «пролетария»), то всякий раз это сопровождается тем, что сингулярность существительного мало-помалу развеивается, превращаясь в столь навязчивую сеть предикатов и отношений, что в итоге исходное существительное оказывается не более чем одним из возможных примеров некоего концептуального места. Так происходит с кусочком воска, который Декарт растворяет в нейтральности геометрической протяженности, с корнем каштана, из которого Сартр извлекает чистое бытие-в-себе без свойств, или с пролетарием у Конта: это существительное, если к нему добавить эпитет «систематичный», легко может обозначать и философа. Даже у столь открытого к сингулярности мыслителя как Делез стая волков не что иное, как ризома в движении, а ризома есть понятие для любого многосложного «горизонтального» расположения, освобожденного от формы бинарной древовидной структуры.

Синтаксическая державность французского языка не терпит ни смачной описательности, ни непостижимости становления Абсолюта. Это скудный язык, чтобы его насытить, требуется протяженная линия фразы, которая подпирается сильными пропозициональными связями.

Огюст Конт, как никто другой, это понимал и практиковал, потому что заведомо писал на этом в высшей степени членораздельном и слегка помпезном языке, который школьные учителя десятилетиями будут прививать деревенским мальчишкам. Это язык, конечно, точный, но до такой степени ассерторический, что до сих пор он звучит, будто речь директора на вручении премий по итогам учебного года, то есть на грани смешного. Язык, конечно, волнительный еще и потому, что в нем (чего добивался уже Декарт) воздается должное — в буквальном смысле — как сказанному, так и сказителю. В общем и целом, это язык, в ко-

тором через философемы сочлениются кафедральная проповедь и сокровенная исповедь, своего рода бастард Боссюэ и Фенелона. К примеру, Конт пишет:

Разумеется, было бы излишним нарочно указывать здесь на то, что мне все равно придется ожидать активных преследований, не суть важно, открытых или скрытых, со стороны теологической партии, с которой, сколь всецелой бы ни была та справедливость, каковую я искренне воздавал ее прежнему превосходству, моя философия реально не может заключить никакого сущностного примирения, разве что случится всецелое церковное перерождение, на которое нам не приходится рассчитывать.

*Курс позитивной философии. Предисловие*

Философу, пишущему на французском языке, важно убедить своего читателя, что в его тексте тот имеет дело со столь несомненной достоверностью, что никак невозможно усомниться в сказанном, не оскорбив при этом субъекта высказывания, разве что подвергнув сомнению — но тогда будет ясно, что речь идет о *политической* оппозиции — буквально все сказанное и без всякого рассмотрения. Дело в том, что французский философский язык — это язык скорее идеологических столкновений, нежели старательных описаний, софистических опровержений или бесконечных спекуляций. Вот почему каждое существительное Огюста Конта появляется в сопровождении прилагательного, которое его подкрепляет и предстает в виде его субъективного телохранителя, вот почему каждая фраза оснащена крепкими штырями наречий («нарочно», «искренне», «реально»), которые для вербальной постройки все равно что колонны для дорического храма.

Было бы неверным считать, что речь идет здесь лишь о причудах полубезумца Конта. Когда в «Критике диалектического разума» Сартр предпринимает исследование категории динамической тотальности, и, стало быть, восприятия движения тотализации и детотализации, когда он должен, в сущности, воссоздать в языке то, что он называет «детотализированной тотальностью», он инстинктивно обретает в своем письме длинную дидактическую и в высшей степени членораздельную фразу, характерную для французского позитивизма: как он сам признается, ему важно заключить во фразу диалектические составляющие процесса. Это означает, что так задумано, чтобы семантические противоположности соединялись под знаком синтаксической тяжеловесности, рискуя при этом утратить всякую субстанциональную, или эмпирическую, сингулярность и навязать диалектике некий унифицированный ритм, постепенно выветривающийся из историчности примеров всякую единичную окраску и просодическую амплитуду, в результате чего весь язык, если взглянуть на него с расстояния, обращается знакомой печатью ряда глаголов и следственных отношений. Посмотрите на одну эту фразу, каких тысячи (речь идет об интерпретации

выступлений рабочих против хозяина бумажной мануфактуры Ревейона в апреле 1789 г.):

Если само отрицательное единство как будущая тотальность вызывает к жизни из глубины подражательного и заразительного марша *бытие-вместе* (то есть не серийное отношение каждого к группе как к *среде свободы*) в качестве возможности, схваченной в серийности и представляющей в то же время как отрицание самой серийности, то это ничуть не мешает тому, чтобы *цель* этого марша оставалась неопределенной: она представляет разом и как серийность, и как реакция на ситуацию, и как попытка, также серийная, *показательного выступления*.

*Критика диалектического разума.* С. 392.

В таком языке как будто заключено некое героическое усилие, направленное на то, чтобы даже в самой гуще концептуальной запутанности был слышен горн истории. И патетическая роль, каковую для достижения этой цели Конт отводит наречиям и прилагательным, равно как и синтаксическим скрепам, на сей раз приходится на головокружительное раскатывание словесного «теста», внутри которого, как можно надеяться, будут обращать на себя внимание эти неподзаконные знаки препинания, каковыми оборачиваются выделенные курсивом слова. Тем не менее нельзя сказать, что подобная фразировка — странным образом напоминающая непрерывно льющуюся мелодию Вагнера — преследует цели, отличные от тех, что Декарт с самого начала предписывает философскому употреблению французского языка. Ибо речь по-прежнему идет об инструментальном (а не тематическом) отношении к языку, единственное предназначение которого — вырвать у читателя одобрение, проистекающее из того, что прямо на наших глазах складывается и выставляет себя «нагишом» философское мышление, следуя собственной утверждающей силе. Действительно, если взять, к примеру, большой стиль Альтюссера, это воинствующее донкихотство чистого понятия, подведенного под идеал науки, то на первый взгляд он как нельзя более противоположен сартровской тотализации. И тем не менее:

Выражая суть со всей ясностью, следует сказать, что в плане практического политического анализа, каковой предоставил нам Ленин в отношении условий революционного взрыва 17 года, вопрос о *специфике* марксистской диалектики возможно было поставить не иначе как, исходя из *ответа на него*, ответа которому не доставало близости *его вопроса*, находившегося *в ином месте* произведений марксизма, откуда мы располагаем тем *ответом*, посредством которого Маркс провозглашал, что он «*офрокинул*» гегелевскую диалектику.

*Читать «Капитал». Введение*

Как знакомо нам это удлинение фразы, нацеленной на то, чтобы собрать воедино все сложносоставные приемы убеждения, и эти курси-

вы, мерцающие ориентиры, предписывающие строгий курс для чтения-навигации! Как будто ясность мысли Альтюссера пронизана той же самой настоятельностью, что и диалектика Сартра!

### III. Политика французского, еще: авторитет языка

Итак, «марксистский» стиль? Политическая тотализация? Скорее, выдвинем утверждение, что *синтаксис политизирует любое философское высказывание*, в том числе и самое далекое от любой эксплицитной политизации, в том числе и то (Лакан), чье уветливое очарование коренится где-то между едким каламбуром (это грандиозная традиция национальной словесности, призванная высмеивать и дискредитировать семантическую амбивалентность, от которой нас воротит) и отточенной формулой в духе Малларме. Посмотрите, насколько авторитет высказывания, его основополагающе политическое желание пронизано этой искусной мелодией, звучащей особенно явственно в употреблении одного из самых своеобразных ресурсов французского языка — действительно властного вопросительного предложения; это вопрос, который валит вас с ног, вопрос, после которого — если субъект зашел далеко в трепете своего высказывания — и в самом деле нечего сказать. И не напрасно этот французский сразу же призывается к ответу в следующей сентенции (речь о том, чтобы «перевести» высказывание Фрейда «Wo Es war, soll Ich werden»):

Но французский говорит: Там, где было это... Воспользуемся преимуществом отчетливого имперфекта. Там, где было это в тот самый миг, там, где это едва было, между этим угасанием, что еще светится, и этим расцветом, что запинается, Я могу дойти до такого бытия, что на грани исчезновения из моего высказывания.

Высказывание, что себя изобличает, высказывание, что от себя отпирается, неведение, которое мало-помалу развеивается, случай, который упускается — что здесь остается, кроме следа того, чему следовало бы быть, чтобы отпасть от бытия.

*Жак Лакан. Подрыв субъекта и диалектика желания. Ecrits. P.801.*

Как все это красиво! Это красота убеждения, которая для любого французского писателя-философа гораздо важнее, чем точность. Или скорее: точность вторичная, которую надлежит воссоздать изнутри красоты, следуя последней и покидая её ради повиновения законам синтаксиса, способствующим тому, чтобы Идея высвободилась из пут. В итоге общность стиля зачастую оказывается важнее персональных или доктринальных антипатий: витализм Делеза усугубляется, будто в пандан психоанализу Лакана, и желание, как нехватка, высказывается на том пылком языке, что и желание, в коем нет недостатка ни в чем («Анти-Эдип» Делеза-Гваттари). Самое главное в том, чтобы в формулярных рамках грамматики удержать вместе противоположные предикции, добившись того, чтобы одна исчезла в другой:

Частные объекты, которые вступают в синтезы или косвенные взаимодействия, поскольку они не являются частными в смысле каких-то частей экстенсивностей, но скорее частичными в виде своеобразных интенсивностей, под которыми материя все время заполняет пространство в той или иной степени (глаз, рот, анус как уровни материи); чистые позитивные множества, где все возможно, без всякого исключения и отрицания, осуществляющиеся вне всякого плана синтеза, где все отношения и связи являются трансверсальными, включенные внутрь дизъюнкции, поливалентные соединения, индифферентные всякому основанию, поскольку материя, которая служит им основанием не определена никаким структурным или индивидуальным единством, но предстает как тело без органов, которое заполняет пространство всякий раз, как его заполняет интенсивность.

Очевидный консонанс «изложения, что от себя отпирается» и «включенных внутрь дизъюнкций», «поливалентных соединений» и «утасания, что еще светится», как если бы склонность языка вернуть оксюморон, от которого мысль завертится вокруг своей оси, неизменно брала верх над необходимостью занять четкую позицию. Как если бы, окопавшись за философским понятием, какой-то вечный Ларошфуко старался здесь запустить фейерверк афоризма и *натянуть* электрическую дугу мысли между двумя полюсами, предварительно намеченными в узнаваемой симметрии французских парков требованиями синтаксической пунктуальности.

Дело не в том, что все мы, французы, думаем одинаково. Наоборот, философия на французском языке самая что ни есть полемичная, она не знает *консенсуса* и пренебрегает даже рациональной дискуссией, ибо неизменно противопоставляя себя академиям, она обращена (политически) к читателям, а не к собратям. Но дело в том, что все мы *реально* говорим на одном языке, а это значит, что мы прибегаем к одним и тем же ухищрениям, чтобы придать (общественный) вес нашим тезисам. И это единство, это тождество мысли тем сильнее, что классический французский язык, на котором только и может заговорить философия, предлагает — несмотря на неизменно неудачные попытки настроить его на барочный лад — довольно ограниченный набор эффективных приемов, каковые все как один обретаются под знаком превосходства синтаксиса и однозначности над семантикой и полисемией.

Тому, кто философствует на французском языке, предписано вписывать понятие и его производные в прокрустово ложе новой латинскости. Одно положение будет высказано после другого, но между первым и вторым не будет иных вербальных обменов, кроме тех, что дозволены грамматикой следственных отношений и регламентом однозначности. Мы, конечно же, знаем (чему державным подтверждением служит сей словарь), что о языках нельзя сказать ничего такого категоричного, что не опроверг бы впоследствии какой-нибудь писатель или какая-нибудь поэма. Но это знание не мешает нам, философам, поддерживать некий

образ языков, не спорю, приблизительный, но достаточно эффективный. Именно поэтому нам случается завидовать, имея на то основания или нет, это другой вопрос, тому могуществу, с которым язык немецкий распространяет через идолопоклонническую семантику смысловые глубины, подлежащие бесконечной экзегезе. Также нам случается возжелать этой свойственной английскому языку способности к описаниям и иронии, этого чудного скольжения по поверхности и этой неизменно ограниченной аргументации, которая никогда ничего не подытоживает, поскольку грамматика в нем это грамматика того, что имеет место здесь и сейчас. И даже разветвленность итальянского языка, когда нам уже не кажется, что в нем все запутывается забавы ради и разом ведется десятка три переплетенных между собой рассуждения, все как одно, ученые и друг другу подражающие, вызывает в нас восхищение своими необычайными темпами, а также тем обстоятельством, что когда в нем что-либо утверждается, он ни на миг не упускает из виду возможности другого утверждения, которое способно пройти в мысль просто из-за опровержения предыдущей фразы.

Но это не наш стиль. Можно было бы показать, как Хайдеггер, вопреки богоугодному стилю его французских толкователей и переводчиков, становится на нашем языке непобедимо прозрачным, чуть ли не монотонным. Как чувственный эмпиризм английского языка превращается на французском, если переводчик не соответствует задачам творца, чуть ли не в пошлость. И как бегучие, будто ртуть, сплетения итальянской прозы выливаются в жалкую болтовню.

Та доля универсализма, что мы даруем философии, всегда заключена в форму несколько жестких максимум или недостаточно нюансированных отступлений. Еще раз: латентный жанр нашей философии — это жанр рассуждения, которое нацелено на то, чтобы собрание, поддавшись соблазну, проголосовало за вас, не слишком вдаваясь в детали. Нужно признать эту силу или эту слабость. Это составная часть вечной философии, что с греческих начал склонна держаться скорее математики, нежели мифологии, ораторского искусства, нежели элегии, софистической аргументации, нежели профетического возвещения, демократической политики, нежели трагической цезуре.

Мы так и будем говорить, по-французски, что «человек — это бесполезная страсть», что «бессознательное структурировано как язык» (Лакан), что «шиза обретает существование не иначе, как через бесцельное и беспричинное желание, которое очерчивает шизоида и принимает его форму», или что «философия — это странное место, где ничего не происходит, кроме этого ничтожного *повторения* ничтожества». И мы так и будем рассматривать следствия этих максимум и противопоставлять им перед завоеванными нами аудиториями другие аксиомы и другие синтаксические сети.

Аксиоматизировать язык — вот в чем наша задача, а также в том, чтобы умножать его производные и тем самым опустошать высказыва-

ние, устранять из него слишком заметные особенности, слишком цветистые предикации. Мы, пуристы, очищаем его, это высказывание, от всех избыточных оборотов, равно как от всяких поползновений к раскаянию и всякого рода недостоверностей. Таковы собственно философские акты философии, как только она начинает упорядочивать свою Идею в соответствии с этим материальным *местом*, которое ее схватывает и пронизывает: это язык, *этот* язык, язык французский.

*Перевод с французского Ольги Волчек*

### **Литература:**

*Althusser L.* Lire « Le Capital ». Maspéro, 1967.

*Comte A.* Cours de philosophie positive. Hermann, 1975.

*Deleuze G., Guattari F.* Capitalisme et schizophrénie. I. L'Anti-Œdipe. Minuit, 1972.

*Descartes R.* Œuvres complètes / Éd. C. Adam et P. Tannery, rééd. Vrin, 1997.

*Lacan J.* Écrits. Seuil, 1966.

*Sartre J.-P.* Critique de la raison dialectique. Gallimard, 1960.